

Ольга Майорова

(Мичиганский университет, Энн Арбор)

Неитоги: размышляя о Сергеев Козлове

Эти короткие мемуарные заметки складывались медленно, потому что писать о Сергеев Козлове в прошедшем времени невыносимо больно. Ощущение, что подводишь некую итоговую черту, мучительно. Но чем больше я думаю, вспоминаю и перечитываю его работы, тем яснее понимаю, что на самом деле время итогов еще не пришло. Масштаб сделанного — не по количеству печатных листов, а по интеллектуальной насыщенности, дерзости и глубине — только предстоит полностью охватить, и диалог с его текстами, мне кажется, будет продолжаться еще долго. Не говоря уже о его самых крупных работах, особенно «Имплантации», многое из написанного Козловым «по поводу» (то, что он сам называл заметками, репликами или вступительным словом к подготовленным им публикациям западных ученых) тоже нуждается в осмыслении. Я хорошо помню его поразительные, производившие освобождающий эффект статьи девяностых и двухтысячных годов о траектории движения гуманитарного знания и переживаемых методологических сдвигах. Тогда эти публикации читались как блистательный анализ текущего, темпераментные призывы к теоретической рефлексии и к эксплицитным методологическим декларациям. Это была прекрасная серия работ, в которых в тот момент остро нуждалась его ближайшая аудитория. Но по прошествии времени видно, что значение его «реплик» выходит за рамки непосредственного полемического отклика на сиюминутное. Козлов в таком широком контексте и в таких емких категориях осмыслил перемены, что по сути он прочертил карту движения гуманитарной мысли и дал эту карту в помощь и следующим поколениям. Мне кажется, что сегодня, в меняющемся академическом ландшафте — особенно с проникновением неомарксистских и постколониальных исследований в славистику и русскоязычную филологию — его интерпретации не только сохраняют значимость, но и обретают новые области приложения. Марксистская критика советского образца как противовес нонконформистскому литературоведению советских лет неизбежно занимала важное место в размышлениях Козлова, и не учитывать этого наследия в сегодняшней ситуации невозможно при всех различиях между разными изводами марксистской критики.

И еще одно признание. Я писала эти заметки не только медленно, но и дробно. Двигаться вперед удавалось лишь мелкими перебежками, иначе горечь зашкаливалась. Но что помогало и оказалось целительным — это воспоминания об искрометном остроумии Козлова и атмосфере заразительного веселья, которую он мастерски вокруг себя генерировал в молодые годы, причем не только на студенческих вечеринках, но и, будучи мастером молниеносных афоризмов, в академической обстановке.

Конечно, прежде всего я вспоминаю Сережу-первокурсника и наше знакомство, которое с годами обросло для меня символическим смыслом. Уже

тогда, при первой встрече почти на бегу, в нем угадывался тот Сергей Козлов, которого я в полной мере оценила чуть позднее, но который поразил меня сразу.

Мы оба поступили на филфак МГУ в 1975 году. Я училась на русском отделении и поначалу, особенно в первые недели занятий, испытывала разочарование и растерянность. Столько волнений пережито во время вступительных экзаменов, столько ожиданий роилось в воображении перед началом занятий! И вот теперь я сижу в аудиториях «стекляшки», слушаю лекции, хожу на семинары, но каждый день недоумеваю: зачем меня шпигуют кондовыми, утратившими всякий смысл фразами? Почему навязывают схоластические категории и затхлые штампы?

Это столкновение с официальным литературоведением обескураживало и отчуждало. Дело в том, что в старших классах школы мне невероятно повезло, правда, этим везением я была обязана грустному событию. При очередном разгоне знаменитой второй математической школы несколько учителей и два класса учеников (9-й и 10-й) перешли оттуда в обычную московскую школу номер девятнадцать, куда в то же самое время я поступила своим ходом и совершенно случайно. На автобусной остановке висело объявление о наборе в математический класс, и я поехала на собеседование — отнюдь не в силу каких-либо (отсутствующих у меня) математических талантов, а просто чтобы сбежать из плохой школы, где я изнывала от скуки. В итоге я оказалась в школе, где нам преподавали не только математику, но и литературу и историю на таком уровне, что я до сих пор помню некоторые уроки. Наши учителя читали и нам рекомендовали (а иногда просто давали почитать) книги и статьи С.Г. Бочарова, Ю.В. Манна, Н.Я. Эйдельмана, С.С. Аверинцева, Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтина. Этот пестрый список сформировал мои ожидания от филфака.

Хотя на первом курсе русского отделения лингвистику преподавали хорошо, а лекции М.В. Панова по фонетике стали для меня откровением, курсы по литературе ввергали в уныние. Справедливости ради надо заметить, что нам все-таки предстояло впоследствии поучиться у замечательных ученых, из которых самые яркие впечатления остались Б.А. Успенский и А.П. Чудаков (многое из их лекций той поры вскоре вошло в их знаменитые книги). Но на первом курсе до этих встреч было еще далеко, и я вынашивала планы либо перевестись в Тарту, либо вообще уйти с филфака.

Мое настроение изменилось в одночасье. Или мне теперь так кажется, что в одночасье? В любом случае знакомство с Сережей — мимолетная встреча и, казалось бы, ничего не значащий разговор — осталось зарубкой в памяти как первое отрадное впечатление от филфака. Как-то раз весь наш курс толпился перед поточкой (кажется, девятой) аудиторией в ожидании какого-то собрания. Пока мы томились под закрытой дверью, я почему-то оказалась среди совершенно мне не знакомых студентов романо-германского отделения. За моей спиной шел разговор о какой-то скучной лекции, видимо, только что прослушанной, все были недовольны, разговор катился по знакомому руслу, но вдруг я услышала реплики, которые заставили меня обернуться. Сережа выражал те же недоумения, что и остальные, но каждым словом так саркастично припекал неудачную лекцию и сыпал такими хлесткими остротами, что круг его слушателей быстро расширился. Что именно он говорил, конечно, стерлось из моей памяти, да и он сам не вспомнил, когда я ему позднее рассказывала, как

он меня поразил тогда. Но что я ясно помню — это то, как он говорил, его язык, резко контрастировавший со всем тем, что мы слышали в аудиториях. Точный, гибкий, аналитически острый язык. Если он произносил какое-либо слово из официального словаря советского литературоведения, то только затем, чтобы подсветить его многослойной иронией — и стилистической, и перформативной. Почти каждая фраза не только произносилась, но и разыгрывалась с не-подражаемым артистизмом.

Таким я знала Сережу и все последующие годы — человеком, стирающим мертвые напластования с языка и владеющим тонким инструментарием анализа, причем делающим все это элегантно, непринужденно, как бы выплескивая из полного сосуда то, что там уже давно бурлило. Когда много лет спустя я встречала людей, восхищавшихся его лекциями, я точно знала, о чем они говорят. Конечно, в первую очередь они имели в виду интеллектуальный блеск и эрудицию уже сложившегося ученого. Но и в семнадцатилетнем Козлове эти дарования уже давали о себе знать. Может быть, я сейчас подгоняю первые впечатления под позднейшие. Но факт тот, что при первой встрече с ним мне стало ясно: ради общения с такими студентами стоит учиться на филфаке, а бездарные лекции можно (и нужно) прогуливать. Скоро круг замечательных собеседников из студенческой и аспирантской среды расширился. Говорить с ними, обсуждать прочитанное, по сути учиться у них — все это оказалось счастьем и одним из главных источников энергии в университетские годы. Сережа всегда был в центре этой группы, а в 1990-е годы стал одним из тех филологов, кто, на мой взгляд, формировал постсоветское академическое письмо и гуманитарное мышление, обновляя инструментарий и понятийный аппарат науки.

Мое интенсивное общение с Сережей началось только через год-полтора после нашего знакомства. На втором курсе я стала встречать его на заседаниях научного студенческого общества и в кругу участников семинара В.Н. Турбина (правда, сам Сережа, насколько я помню, этот семинар не посещал). Мы собирались после занятий на заседаниях, где сами же делали доклады. Обсуждения обычно затягивались допоздна и часто перетекали в домашние посиделки. И тут невозможно отделить академическое общение от чисто дружеского — одно служило продолжением другого, и все было пронизано игровой атмосферой. Помню написанные В.А. Мильчиной остроумные, слегка абсурдистские рассказы, где действующими лицами выступали знаменитые филологи. Помню обмен щуточными, написанными Александрийским стихом посланиями между О.А. Проскуриным и А.М. Песковым.

В этой «смеховой культуре» Сережа занимал особую нишу. Он писал остроумные стихи «на случай», придумывал изысканные шарады и великолепно рассказывал анекдоты, точнее, он их разыгрывал, инсценировал в своем театре одного актера. Но главное, он изумительно музиковал, хотя, кажется, никогда серьезно музыкой не занимался. Помню его пародии на каэспэшные песни. Козлов виртуозно имитировал их среднестатистическую задушевность и жонглировал их стандартной лексикой, умело вшивая в свое исполнение хорошо замаскированную иронию. В соавторстве с несколькими нашими однокурсниками он сочинил пародийную рок-оперу «Павлик Морозов — суперзвезда» (положена, разумеется, на музыку «Иисус Христос — суперзвезда»). Опера пользовалась у нас невероятным успехом. Помню кое-какие хиты оттуда, например хор крестьян-середняков: «Павлик Морозов — хороший чело-

век. / Мы сдадим все зерно в семфонд». Драматические события оперы разворачиваются вокруг коллективизации, Павлик твердо противостоит миру злорадных кулаков (включая его собственного отца), на помошь герою приходят до боли знакомые каждому советскому школьнику дед Щукарь и Макар Нагульнов (персонажи «Поднятой целины»), но все-таки главная роль, конечно, принадлежит Павлику. Он преображает неграмотную деревню, и хор сознательных крестьян настойчиво убеждает несознательных: «Все в ликбез к Павлику Морозову!» Под его влиянием исправляются отрицательные персонажи, и вот, насколько помню, ария одного из них: «Запиши меня в актив, / Мне всего дороже коллектив». А ближе к финалу звучит апофеоз: «В сельском хозяйстве опять большой подъем, / К коммунизму мы все придем».

Это звучало особенно смешно в 1970-е годы с их полупустыми прилавками продуктовых магазинов. Но главный комический эффект высекался из столкновения родной истории, выученной по Шолохову, с такой притягательной и «не нашей» музыкой британской рок-оперы, которую мы жадно слушали на плохих магнитофонах. Некоторые партии из «Павлика Морозова» врезались в мою память именно в исполнении Сережи. Он делал страшные глаза и полным драматизма голосом замечательно пел главные арии. Это музицирование не так далеко было от его филологической работы, как может показаться. И в том, и в другом виден широкий диапазон интересов. Козлов чурался снобизма как в выборе предмета пародии, как и в выборе объекта профессионального анализа — для него были в равной степени важны самые разные феномены культурного поля.

После окончания аспирантуры мы какое-то время редко виделись, но общение возобновилось в 1990-е, когда Козлов работал в НЛО, а я еще не перебралась в Америку. Позднее встречались эпизодически в мои летние приезды в Москву, на разных площадках, либо в НЛО, либо благодаря каким-нибудь радостным событиям (например, на вручении Вере Мильчиной Новой пушкинской премии). Но читала я Сережу всегда — и всегда с ощущением, что он формулирует ожидания и настроения всего поколения или даже более широкого круга гуманитариев. Козлов обладал тонким слухом и особо чувствительным инструментарием для измерения и осмыслиения меняющейся ситуации в гуманитарных науках. За его «заметками» или «репликами», о которых я упоминала вначале, на самом деле стояла огромная работа, широкая начитанность, аналитическая глубина. Если собрать эти разрозненные материалы в отдельную книгу, по ней можно будет изучать не просто историю усвоения западного гуманитарного знания в постсоветской России, но и интеллектуальные драмы, стоявшие за новыми методологическими дилеммами и менявшимся гуманитарным ландшафтом, где заново прочерчивались границы между дисциплинами. По этой книге можно будет проследить и возникновение замысла его главного труда, поскольку понятие «имплантация», правда применительно к судьбе западных конструктов на русской почве, не раз появляется в этих статьях.

Повторюсь: мне представляется, что Козлов занимает центральное место среди тех, кто сыграл решающую роль в осмыслиении и продвижении переходных процессов в гуманитарном знании в то время, когда менялись методологические параметры и российская филология с энтузиазмом вырывалась из тисков официального литературоведения, но с трудом преодолевала ограничения нонконформистской науки советской эпохи. Для моей собственной работы

особенно важными были статьи Козлова о проникновении нового историзма и о его специфическом усвоении в России — усвоении, опосредованном, как он показал, московско-тарусской школой семиотики. Интересно, что чуть позднее в разговорах со мной Ричард Уортман и некоторые другие американские слависты говорили о том, что и на них оба движения оказали влияние, для некоторых в равной степени важное.

В статье «Наши новые “истористы”», посвященной по преимуществу замечательным, прорывным книгам А.Л. Зорина и О.А. Проскурина, Козлов точно обозначил главную дилемму тех лет. Он четко прорисовал сложившуюся к концу советского периода ситуацию, которую филология 1990-х годов стремилась преодолеть: с одной стороны, детерминистские модели осмысления литературы (разного рода, от культурно-исторической школы до марксизма, попытки объяснить литературу жизнью), с другой стороны, герметичное литературоведение, которое понимало свой объект «как автономную текстовую вселенную» и сосредотачивалось на «самодостаточной интертекстуальности». И тому и другому Козлов противопоставлял инновационные стратегии нового историзма с характерным для этой методологии стремлением расшифровать скрытые политические валентности изучаемых артефактов. В этом широком контексте ясно выступали специфические трудности, с которыми столкнулась при усвоении нового историзма российская филология, травмированная марксизмом. Но статьи Козлова — это не только академическая рефлексия и не только картина интеллектуальной драмы тех лет (что само по себе важно). Он, по сути, проговаривал и темпераментно продвигал те новые методологические ориентиры, которые находил в анализируемых им исследованиях в имплицитном виде. И мне кажется, это такая его заслуга, которую ценит (и оценит) любой российский филолог, независимо от сферы специализации.

Часто говорят о нереализованности Сергея Козлова. Если мы имеем в виду масштаб его дарования, соглашусь: от человека такой интеллектуальной энергии можно было ожидать большего. Но если взять почти каждую его статью в отдельности, то многие из них представляют собой конспекты целых книг. И это, наверное, главное, что еще предстоит освоить.